

ИСТОРИЯ НАУКИ

А. В. Головнёв

ЭТНОГРАФИЯ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

АННОТАЦИЯ. Авторство первого сводного этнографического труда принадлежит Иоганну Георги, издавшему в 1776–1780 гг. «Описание всех обитающих в Российском государстве народов». Раннее народоведение отличает: (1) выдвижение на первый план народа как главного фигуранта повествования, точнее «всех народов»: Георги написал «этнопортрет империи» и создал образ России как многонародной страны; (2) значимость художественного образа (рисунка костюма) в описании народа; (3) рождение народоописания не в кабинетах, а в путешествиях. В XX в. национальные движения и сопровождавшее их народоведение сыграли ключевую роль в революции и образовании СССР как союза народов; первое десятилетие советской власти ознаменовалось бумом нациестроительства и народоведения. В начале 1930-х гг., когда правящая элита укрепилась и более не нуждалась в национальных движениях и сильном народоведении, наука о народах попала в политическую опалу и была разжалована во вспомогательную историческую дисциплину. В условиях репрессий творческим подпольем для советских этнографов стала тематика этногенеза, в которой выросла теория этноса, увенчанная дискуссией 1970-х гг. с участием Ю. В. Бромлея и Л. Н. Гумилева. Традицию особого, подчас гипертрофированного, внимания к этничности советская и постсоветская этнография унаследовала от российского народоведения XVIII в. В России наука о народах всегда была «почвенной» — выросшей из реальных обстоятельств и нужд.

Ключевые слова: этнография, антропология, народ, Россия, империя, советское нациестроительство, этногенез, история науки

УДК 39:930.1(470)

DOI 10.31250/2618-8600-2018-1-6-39

ГОЛОВНЁВ Андрей Владимирович — чл.-корр. РАН, директор, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Россия, Санкт-Петербург)

E-mail: Andrei_golovnev@bk.ru

Цель статьи настолько проста, что может показаться трюизмом: убедиться в том, что знание о народах было и остается призыванием науки этнографии/логии. Названия «этнография» и «этнология» я в данном случае использую как (почти) синонимы, поскольку основа у них одна, а различия состоят в мере субъективности: в этнографии преобладает полевое описание, в этнологии — авторское теоретизирование. При этом научная значимость образа народа (этнография) ничуть не ниже его теоретического осмысления (этнология), и у этнографического образа есть шанс войти в нетленный фонд науки, тогда как опыт этнологического теоретизирования может остаться сиюминутным и ситуативным. Во избежание кривотолков сразу оговорюсь: посвящая статью этнографии, я не изменяю антропологии, привязанность к которой выражена, например, в моей книге «Антропология движения». Более того, антропология, наука о человеке, представляется мне обширнее этнографии/логии, науки о народах.

О ПРИОРИТЕТАХ

Х. Фермёлен небезосновательно утверждает, что «этнография как всестороннее описание народов стала откликом на колониальную практику России начала XVIII в.», и что «институционализация дисциплины случилась в России раньше, чем в Западной Европе или Соединенных Штатах». По его наблюдениям, приоритет России как страны происхождения этнографии сочетается с приоритетом Германии как страны происхождения выдающихся ученых, прежде всего Герарда Миллера и Августа Шлёцера, работавших в России и давших новой науке концептуальные основы и названия: *Völker-Beschreibung* (1740), *Ethnographia* (1767), *Völkerkunde* (1771), *Volkskunde* (1776) (чуть позднее, в 1781 г., словацкий историк Адам Коллар ввел понятие *Ethnologia*). Итак, «этнография была изобретена германскими учеными в России XVIII в.» и объектом ее штудий изначально была «этничность, точнее мультиэтничность, мировое многообразие народов и наций» (Vermeulen 2015: xiv, 28, 217, 262–263, 410).

В этом сценарии основоположником этнографии выступает Г. Ф. Миллер, историограф Петербургской Академии наук, составивший в середине XVIII в. развернутый вопросник для сбора этнографических данных (1740) и первый обзор народов Сибири на основе собранных им во Второй Камчатской экспедиции (1733–1743) полевых и архивных материалов (правда, эти разработки «остались в рукописях»). Идеи Миллера подхватил Шлёцер, квартировавший у него в Петербурге в 1761–1762 гг., а затем распространивший идеи народоведения в Германии. В ходе поездки на свою родину, во Франконию, осенью и зимой 1765–1766 гг. Шлёцер виделся с историком Иоганном Шёперлином, который вскоре в «Истории Швабии» (1767) впервые употребил греческий эквивалент миллеровского *Völker-Beschreibung* — *Ethnographia*. Идея нашла отклик и в ученой

среде университета Геттингена, ставшего с той поры очагом народоведения в Европе. Наконец, Шлёцер не только сеял зерна этнографии всюду, где бывал, но и вырастил концептуальное древо науки, обозначив в своей «Всеобщей истории Севера» (*Allgemeine Nordische Geschichte*, 1771) «народ» (*Volk*) ключевым фигурантом мировой истории (*Weltgeschichte*): по его разумению, каждый народ нуждается в описании, и «мировая история может насчитывать столько глав, сколько существует отдельных народов» (одновременно другой геттингенский историк, Иоганн Гаттерер, обозначил народ как предмет географии/землеописания — *Erdkunde*) (Stagl 1995: 233–268; Vermeulen 2015: 217, 252, 260, 278, 280–281).

Поддерживая общий дизайн приоритетов, замечу, что при всех заслугах Миллера его народоведческие тексты пролежали в архиве два с половиной столетия и были изданы лишь недавно (Müller 2003; Миллер 2009), что не позволяет учитывать их как актуальный факт науки XVIII в.;¹ методичкой полевого народоведения послужила инструкция Миллера из почти тысячи вопросов (Müller 2018: 374–423), однако и эта разработка относится скорее к разряду проектов, чем результатов. В свою очередь Шлёцер, будучи блестящим кабинетным ученым, не участвовал в экспедициях и не видел народов, о которых писал. Авторство народоведения в той или иной мере принадлежит широкому кругу ученых: со стороны теории и систематики — Готфрид Лейбниц, Жозеф-Франсуа Лафито, Карл Линней; со стороны практического (экспедиционного) народоведения — Даниэль Мессершмидт, Иоганн Страленберг, Василий Татищев, Петр Рычков, Иоганн Фишер, Степан Крашенинников, Петер Паллас, Иоганн Фальк, Иван Лепехин и др. И все же в потоке народоведческих опытов был момент, когда актуальное знание кристаллизовалось в первый собственно этнографический труд.

Иоганн Готлиб Георги опубликовал в 1776–1780 гг. на трех языках — на немецком четырехтомное, на русском и французском трехтомное — «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей» (Georgi 1776–1780; Георги 1776–1779). В «Истории русской этнографии» С. А. Токарев охарактеризовал этот труд как «первую сводную этнографическую работу — обозрение всех народов России, описание их хозяйства, образа жизни». В Европе сопоставимая по масштабам «Этнография Австрийской монархии» Карла Чёрнига появилась несколькими десятилетиями позже, в 1855–1857 гг. (Токарев 1958: 13; 2012: 103). Новизна труда Георги состояла не только в обобщении сведений о 80 народах России, но и в концептуальном сочетании (а) принципов систематики Линнея, (б) основ языковой

¹ Опубликованные Г. Ф. Миллером народоведческие работы имели локальный характер («Описание трех языческих народов в Казанской губернии», 1756) или ориентацию на летописную древность («О народах, издревле в России обитавших», 1773).

классификации Лейбница, (в) народоописательного алгоритма Миллера, (г) концепции народа в истории Шлёцера, (д) сравнительного метода с опорой на «референтные народы» Палласа. Эпохальным новшеством стало выдвижение на первый план персонажа, никогда прежде не фигурировавшего в качестве главного героя повествования, — народа, точнее «всех народов»: Георги написал «этнопортрет империи» и создал образ России как многонародной страны (Головнёв, Киссер 2015). Предисловие ко 2-му изданию «Описания» содержит многозначительный пассаж: «Известно всякому сведущему о государствах и владениях, на земном шаре существующих, что нет на оном ни одного такого, которое вмещало бы в себя толь великое множество различных народов, как Российская держава» (Георги 1799 I: vi). Эта идея на разные лады повторялась в конце XVIII в.² и утвердилась как формула самоопределения России.

В обзорах блестящей плеяды академиков-немцев екатерининской эпохи имя Георги блекнет то в лучах славы Палласа, то в тени драмы Фалька. Его роль в академической экспедиции выглядит вторичной (он прибыл на помощь Фальку и Палласу), а труд компилятивным (автор открывает «Описание» длинным списком источников и заслуг предшественников). Между тем Георги провел в экспедиции более четырех лет, объехав Россию от Петербурга до Байкала, собрал и систематизировал данные по ботанике, геодезии, этнографии. В отряде Фалька он «более по своей воле, нежели по поручениям» занимался «землеописанием, минералогией и познанием языческих народов» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 36. Л. 2). С ноября 1771 г., когда больной Фальк был отозван из экспедиции, он возглавил экспедиционный отряд.

Георги побывал у тунгусов, бурят, вогул, башкир, чувашей, мордвы. По дневнику путешествия заметно, что его «этнографический сдвиг» пришелся на тунгусов. Если прежние заметки 1770 — начала 1771 гг. не содержат этнографически выразительных сведений, то с июля 1771 г. ситуация решительно меняется: находясь среди байкальских, верхнеангарских, баргузинских, витимских тунгусов, он обстоятельно и увлеченно описывает их «колена», классифицирует тунгусов на «конных, оленьих и собачьих» (в другом измерении — на лесных и степных). В строки дневника закрадывается симпатия и теплота: «Старики ходят так бодро и проворно, как у европейцев молодые люди. Молодые тунгусы скачут с удивительной легкостью через палки и колоды» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 36. Л. 237). Тунгусы с их ярким шаманством и естеством миропонимания стали для Георги «референтным народом», и в дальнейшем он опирался на них в сопоставлениях. Одновременно, будучи учеником Линнея, он применял классификационный подход — и в типологии воды, и в обзоре народов.

² Например, в 1797 г. академик Генрих Шторх, восторгаясь этнографическим многообразием России, отмечал: «Никакое другое государство на земле не имеет такого разнородного населения» (Суни 2007: 58).

Георги не звался «апостолом Линнея», как Фальк, не был архивным титаном, как Миллер, не обладал лидерской харизмой, как Паллас. Второй по отдельным характеристикам, он по совокупности достоинств — систематичности от Линнея, педантичности от Миллера, экспедиционному опыту от Палласа — стал первым в народоведении. Остается согласиться с М. Кёхлером в том, что «Иоганн Готлиб Георги — по сей день недооцененная фигура немецко-русских научных отношений XVIII в. В большинстве случаев он стоит в тени Петра Симона Палласа. Однако для развития ранней этнографии в Российской империи Георги сыграл не менее выдающуюся роль, чем Паллас, и оставил после себя труд, сопоставимый с трудом Палласа» (Köhler 2012: 187). Странно, что до сих пор заслуги Георги остаются сокровенным знанием узкого круга специалистов, а для Википедии (в английской и немецкой версиях) он — лишь географ и натуралист, но не этнограф. Возможно, эти недомолвки имеют отношение не столько персонально к Георги, сколько к науке о народах в целом.

ОБРАЗ НАРОДА

Георги обладал качеством, отличавшим его от маститых собратьев по науке (впрочем, по статусу он, член Российской и Прусской академий, им не уступал). Если сложно представить себе цветок по имени и образу Миллера, то георгин (точнее, в женском роде, георгина) — цветок, привезенный из Мексики и названный в честь Георги, — в представлении не нуждается. Насколько Миллер расположен к фундаментальности, настолько Георги — к популяризации и художествам. Он не был «рисовальных дел мастером», но, судя по всему, делал наброски в ходе путешествия и собирал коллекцию изображений, которую сегодня назвали бы визуальной этнографией. Однако прежде чем продолжить разговор о роли искусства в становлении этнографии, имеет смысл бросить общий взгляд на российскую действительность и обстоятельства рождения науки о народах.

К XVIII в. грандиозная восточная экспансия превратила Московское царство в Российскую империю. В отличие от европейских королевств, рассматривавших заморские колонии со стороны, Россия, вобравшая в себя новые земли и народы, видела их изнутри. Кроме того, полиэтничной была и элита империи; и если прежде она обильно пополнялась с Востока, то теперь — с Запада. Пересечение традиций и интересов создавало почву для народоведения во всех слоях общества. Обустройство огромной страны, раскинувшейся на всю Евразию от Балтики до Тихого океана, делало народоведение практическим знанием, посредством которого российские монархи, особенно энергично Петр I и Екатерина II, проводили инвентаризацию имперских ресурсов, в том числе людских (см.: Головнёв 2015: 329–535; Головнёв, Киссер 2015).

Изображение на карте служило первым по очередности — наглядным — способом сбора и свода знаний о землях и народах. Стратегическая значимость картографии превращала ее в государственную тайну и монополию. В те годы карта была одновременно социальной конструкцией, информационной базой и произведением искусства (Harley 2001). Изобразить народ значило нанести его на карту, а изобразить империю значило нанести на карту много народов. Подобная практика сопровождала мировую геополитику со времен Птолемея и античных логографов, ярко проявившись в итальянской, арабской, голландской и английской картографии. В финале эпохи великих географических открытий на картах стали появляться не только обозначения народов, но и изображения их образов-костюмов (например, карта Турецкой империи 1626 г. Дж. Спида).

В империи Петра I картография связана с именами Николааса Витсена (бургомистра Амстердама), его родственника Андрея Виниуса (главы Сибирского приказа) и Семена Ремезова (автора Хорографической книги и Чертежной книги Сибири). В этом треугольнике роль связующего играл Виниус, а картографами выступали Витсен в Голландии и Ремезов в России; их карты появились почти одновременно — в последние годы XVII в. Обе сопровождались комментариями, разросшимися до самостоятельных трудов — книги «Северная и Восточная Тартария» Витсена (1692; 2-е изд. 1705) и «Летописи Сибирской» Ремезова (1703). В той же очередности — от карты к книге — выстроена и «Северная и восточная часть Европы и Азии» Иоганна Страленберга (1730). Поскольку в те времена приоритетом была карта, а приложением к ней — книга, можно сказать, что одним из начал этнографии была картография, изображающая народы в пространстве. Вторым способом изображения был рисунок костюма, и карта, наряду с сопровождающей ее книгой, служила полотном для этих рисунков. Народоведение изначально было изобразительным, представляя народы рисунками на картах и в книгах.

Исходная визуальность этнографии объяснима с учетом того, что любые контакты с соседями и пришельцами всегда начинались с народоузнавания по наружности, одежде, украшениям, манерам поведения и иным зримым символам. Такие «слепки этничности» удостаивались пристального внимания, в том числе со стороны иноземных путешественников, и доставлялись в Академию и Кунсткамеру не просто в качестве диковин, а как материализованное знание о других народах. Иными словами, первичная этнография была сосредоточена в вещах и изображениях. В России обилие народов стало не только вопросом управления и формулой самоопределения, но и темой светских увеселений (своего рода этномодой), как показывает устроенный Анной Иоанновной в 1740 г. потешный «парад народов».

Наука о народах только нарождалась, а империя уже играла в многонародность. 6 февраля 1740 г. состоялась «потешная свадьба» придворного шута кн. М. А. Голицына с шутихой — калмычкой А. Н. Бужениновой.

Программа увеселений включала костюмированный «парад народов», для участия в котором в Петербург со всех концов страны прибыли пары (мужчина и женщина) от всех «иностранцев» империи. Очевидец потешной свадьбы В. А. Нашокин отмечал, что в процессию, кроме «разноязычников», были включены и «ямщики города Твери», которые «оказывали весну разными высвистами по-птичьи» (Нашокин 1998: 258).

Впрочем, готовилась императорская забава вполне серьезно: Академии наук было поручено «подлинное известие учинить о азиатских народах, подданных ее императорского величества, и о соседях, сколько оных всех есть, и которые из них самовладельцы были, и как их владельцы назывались, со описанием платья, в чем ходят, гербов на печатях или на других, на чем и на каких скотах ездят, и что здесь в натуре есть платья и таких гербов, и например: мордва, чуваша, черемиса, вотяки, тунгусы, якуты, камчадалы, отяки, мунгалы, башкирцы, киргизы, лопари, кантыши, каракалпаки, арапы белые и черные, и прочие, какие есть, подданные российские» (Материалы для истории 1886–1887: 276). Генерал Х. Г. фон Манштейн (тоже очевидец свадьбы) утверждал, что праздник был задуман с целью показать, сколько различных народов обитает в России (Манштейн 1997: 158). Потешные игрища в очередной раз, как неоднократно при Петре, стали полигоном выработки серьезной стратегии, и «парад народов» (пусть и шутовской) засвидетельствовал растущий интерес правителей и жителей России к многообразию народов империи (Головнёв, Киссер 2015: 62).

Большая часть этой коллекции костюмов, хранившихся в Кунсткамере, сгорела в пожаре 1747 г. (Чистов 2017: 139). Однако наглядно-популярная (изобразительная) линия народоведения продолжилась в рисунках и гравюрах: костюмированный парад народов сменился «собранием одежд всех народов в Российской империи обретающихся». Так звучал подзаголовок издания с интригующим названием «Открываемая Россия» на русском, немецком и французском языках, представлявшего серию рисунков костюмов народов России (Открываемая Россия 1774–1776). К этой идее и затее причастны, по меньшей мере, трое: составитель коллекции рисунков Иоганн Георги, гравёр Христофор Рот и издатель Карл Мюллер.

«Открываемая Россия» — по некоторым оценкам, первый художественный журнал России — имел коммерческий успех и... научное продолжение. Серия из 12 номеров не прервалась в 1776 г., а продолжилась изданием четырехтомного «Описания» Георги, в котором были те же гравюры, тот же автор (Георги, уже обозначенный в титуле), тот же издатель (Мюллер), та же триада языков (немецкий, русский, французский). Новшество состояло в добавлении к картинкам пояснительных текстов, которые разрослись настолько, что отодвинули рисунки на второй план. В траектории от «Открываемой России» к «Описанию» видны следы

постепенного сдвига приоритета от изображения к тексту: «Открываемая Россия» (1774–1776) была коллекцией рисунков (по пять в номере) без сопроводительных комментариев; первое издание «Описания» (1776–1780) охарактеризовано в посвящении Екатерине II как «изображение и описание народов»; во втором издании (1799) сначала во введении перечислены тексты, затем изображения.

Коллекция этнографических рисунков (гравюр), перешедшая из «Открываемой России» в «Описание», известна как «костюмы Георги» или «рисунки Георги» (Вишленкова 2011: 48, 62), что прямо указывает на авторство общей идеи, а также, возможно, отдельных картин. Гравюры Рота, никогда не участвовавшего в экспедициях, были выполнены с исходников Георги, хотя «вопрос о том, кто с кого перерисовывал и перегравировывал иллюстрации для разных изданий конца XVIII — начала XIX в., весьма запутанный и никем пока еще не решенный» (Жабрева 2007: 208).

Таким образом, первый этнографический труд вырос из рисунков и описаний этнографических предметов, собиравшихся и хранившихся в Кунсткамере. Следовательно, изобразительное народоведение, по крайней мере в части публикации, предшествовало описательному. Е. А. Вишленкова полагает, что опыт Георги проливает свет на когнитивную схему рождения этнографии, в которой визуальное восприятие предваряет интеллектуальную деятельность. Ссылаясь на признание (в предисловии к немецкому изданию) Георги в том, что он взялся за описание народов для текстового сопровождения гравюр Рота в издании Мюллера, она заключает: «В XVIII в. этнографическое знание рождалось из наблюдений и последующих расспросов. Соответственно, оно упаковывалось сначала в “картинку”, а потом в “этнографическое письмо”» (Вишленкова 2011: 54).

Как уже говорилось, этнографическое «прозрение» Георги началось с тунгусов. В дневниках его путешествия им уделено непомерно много места (более 50 страниц), а завершается раздел рисунком «Тунгусы» (Georgi 1775 I: 295). По мнению Е. А. Вишленковой, художественное несовершенство рисунка «позволяет предположить авторство самого Георги»; в рисунке ей видятся приемы музейной экспозиции, а в позах персонажей «с вывернутыми руками, в которые вложены колчан и стрелы», — «любовительская выучка рисовальщика» и «негибкость деревянных манекенов, на которые надевались костюмы из Кунсткамеры» (Вишленкова 2011: 45). На мой взгляд, некоторая «манекенность» лучников не затмевает живости общей картины тунгусского стойбища, а в ее деталях этнограф-полевик легко различит значимые акценты: именно тунгусский ручной олень-учак может безмятежно дремать рядом с собакой и жилищем; мгновение реальности читается в том, как дымит лишь один из восьми чумов стойбища, мимо которого шагает еще один лучник. Эта сцена этнографически реалистична, ее можно рассматривать и в целом, оглядывая горно-таежный



Рис. 1–2. Иоганн Георги (СПбФ АРАН. Р. Х. Оп. 1-Г) и (предположительно) его рисунок «Тунгусы» (Georgi 1775 I)

ландшафт, и в частности, изучая орнамент меховой одежды, татуировку на лице, набор оружия, строение чума и крой его покрышек. Представленная Георги визуальная этнография — слепок действительности, передающий не только тунгусскую культуру, но и погружение в нее рисовальщика. Рисунок «Тунгусы» запечатлел тот самый «этнографический сдвиг» натуралиста, который позволил Георги вернуться из экспедиции знатоком народов России и взять на себя ответственность создания галереи костюмов, а затем этнографической энциклопедии.

Иоганн Георги сочетал в себе качества художника (пусть и любителя) и ученого (пусть и натуралиста), сумевшего в своей исследовательской практике сложить эти составляющие в целостное этнографическое обозрение. Не исключено, что именно рисунок — художественный образ — дал импульс выдвигению на первый план народа как главного фигуранта (объекта исследования) в сочинении Георги и последующей этнографии/логии.

EX ORIENTE LUX

Сбор сведений об империи, начавшийся с картографии Витсена и Ремезова, был сфокусирован на Востоке (Сибири). Витсен начал повествование о Тартарии с описания Маньчжурии, а в конце книги после обзоров Азии, Америки, Океании и России вновь обратился к Монголии и Китаю. Это был первый в Европе евразийский обзор, открывающийся и завершающийся Востоком (Витсен 2010). Заданная автором навигация, согласно которой Восток играет опорную роль для обзора и понимания Тартарии (Евразии, России), связана с недавней зависимостью доромановской Московии от Орды, а также с обозначением посреднической

роли России между Европой и Азией. Благодаря присоединению Сибири российские политики научились мыслить континентами, а не уездами. Символически этот взгляд выразила Елизавета Петровна, повелев доставить на свою коронацию «шесть пригожих благородных камчатских девиц» (как известно, посланный на Камчатку штабс-фурьер Шахтуров исполнил поручение, но с опозданием на четыре года, притом добравшись на обратном пути только до Иркутска).

Пока Петр I в Северной войне прорубал окно в Европу, Владимир Атласов овладел Камчаткой. Утвердившись на Балтике, русский царь обратил взор на восток, и в 1719 г. сразу несколько миссий двинулись «встреч солнцу», в том числе: экспедиция Ивана Евреинова и Федора Лужина — на Камчатку и Курилы с целью «описать тамошние места: сошлася ль Америка с Азиею <...>, и все на карте исправно поставить»; посольство Льва Измайлова (с участием Лоренца Ланга) — в Китай для заключения торгового договора с императором Канси; доктор медицины Даниэль Мессершмидт — в Сибирь «для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей, трав, цветов, коренья и семян и прочих принадлежащих статей в лекарственные составы». Если первые две миссии были посвящены важным, но обычным задачам политики, то последняя стала новшеством, обозначив зарождение в России экспедиционной науки. Доктору медицины надлежало следовать указу царя, подготовленному лейб-медиком Робертом Арескиным и направленному сибирскому губернатору Матвею Гагарину. Правда, пока Мессершмидт добирался до Сибири, лейб-медик умер, а губернатор попал в опалу. Доктор оказался предоставленным самому себе и действовал уже не столько по указу, сколько по собственному разумению: в Тобольске он обзавелся спутниками из числа пленных шведов, включая Страленберга. Пользуясь привилегией на казенный транспорт, он объехал на санях, нартах и лодках Западную и Восточную Сибирь от Иртыша (Тобольска) до Енисея (Красноярска, Туруханска) и Байкала (Иркутска, Нерчинска). За семь лет экспедиции Мессершмидт расширил круг своих интересов и занятий от первоначальных «куриоситетов и лекарственных вещей» до обширной программы, включая древности и народные обычаи (Копанева 2016: 47). Семилетнее исследовательское путешествие (*Forschungsreise*) Мессершмидта сделало его знатоком не только природы и народов Сибири, но и пространства России. Его материалы, оставаясь рукописными, пользовались спросом у всех исследователей России, включая Миллера, Палласа и Георги.

Удачливее Мессершмидта оказался его «сердечный друг» и спутник по экспедиции Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг, немец на шведской службе, попавший в русский плен под Полтавой, прошедший тринадцать лет в сибирской ссылке и год в путешествии с Мессершмидтом, вернувшийся домой после Ништадского мира 1721 г. и в 1730 г. опубликовавший книгу «Северная и восточная часть Европы и Азии». Страленберг

заочно конкурировал с Витсенем, которого беспощадно критиковал и настойчиво перепроверял. Составив карту России, он назвал ее, в подражание Витсену, «Великая Тартария» (*Tartaria Magna*), и книгу свою озаглавил в витсенском стиле. Кстати, карту Витсена возил с собой Мессершмидт, уточняя и исправляя ее по ходу путешествия. Не исключено, что именно ему Страленберг обязан идеей работы над картой и книгой. Картографию Мессершмидт считал первоочередной задачей экспедиции, и не случайно при встрече с Витусом Берингом летом 1725 г. в Енисейске он обсуждал главным образом картографию Азии (Vermeulen 2015: 110, 120; Копанева 2016: 47–50; Тункина, Савинов 2017: 14).

Как Страленберг правил Витсена, так Миллер — Страленберга (например, в «Истории Сибирского царства»). Право на правку Миллер приобрел не на службе в Петербурге, а в Камчатской экспедиции, где за семь лет (1733–1740) он стал ведущим историком империи. В ходе путешествия Миллер сделал еще одно открытие, разглядев в туземных народах главных фигурантов сибирской истории. Когда на смену ему в 1740 г. прибыл адъютант Иоганн Фишер, Миллер снабдил его инструкцией из 1 287 пунктов. 6-й раздел инструкции «Об описании нравов и обычаев народов» включал 923 пункта, а также приложения: (1) О ланд-картах (63 пункта); (2) О рисунках (30 пунктов); (3) О собирании различных предметов для Кунсткамеры (16 пунктов); (4) Словарь, по которому надлежит собирать материалы по языкам и диалектам. Эта программа стала методической базой для систематики народов и, по оценке А. Х. Элерта, до сих пор не имеет аналогов в отечественной науке (Элерт 1999: 25). По возвращении из экспедиции Миллер в предисловии к «Описанию сибирских народов» впервые обозначил народоведение — в его формулировке «всеобщее описание народов» — как науку будущего: «Многочисленное мое желание было, чтоб какой искусный человек из всех по нынешнее время бывших путешественных описаний, також и из описаний одних народов, по сообщенному здесь показанию предпринял намерение к сочинению всеобщего описания народов, чем бы сия материя учинилась некоторою новою наукою, от которой бы потомство вечной пользы себе ожидать могло» (Миллер 2009: 30–31).

Желание Миллера, как известно, исполнил Георгий, который в свою очередь прошел испытание Сибирью. Вместе с Палласом он отправился в восточное путешествие натуралистом, а вернулся народоведом. Успех последователей Линнея в этнографии не случаен: они применили методы естественнонаучной систематизации для описания народов, разглядев в них такое же естество и многообразие, какое видели в природе. Однако не менее важно и непосредственное пребывание в среде изучаемого народа, без которого немыслимо «этнографическое прозрение». Для Георгия таким народом стали тунгусы, для Палласа — калмыки, которых он характеризовал обстоятельно и с явной симпатией: «Нравы

сих жителей во многих делах показались мне лучше, нежели как многие путешественники их описали. По крайней мере они в том гораздо превосходнее других степных народов. Все те народы, которые имеют своевольную и степную жизнь, от природы склонны к праздности: но калмыки по их бодрому духу действительно могут назваться трудолюбивыми» (Паллас 1773 Ч. 1: 458, 570, 578).

В судьбе каждого этнографа есть народ, с которым он проходит своего рода этнографическую инициацию, после которой обретает новое видение не только изучаемого народа, но и — через него — народов вообще. С этого начинается этнографическое мышление, которое отзывается встречным переосмыслением себя, привычных ценностей и даже мирового пространства: так у человека Запада может появиться «взгляд с Востока». Попутно рождаются исследовательские приемы, в том числе общий для всех путешественников сравнительный метод, которые черпаются не из книг, а из опыта странствия.

Ex oriente lux (свет с востока) — так можно обозначить траекторию становления российского народоведения в XVIII в., поскольку самые яркие результаты приносили дальние и долгие восточные экспедиции. Российское народоведение рождалось не в кабинетах, а в путешествиях — этнография вообще невозможна без путешествия. В силу своей протяженности и этнокультурной многоликости Россия была и остается страной, путешествие по которой располагает к «этнографическому сдвигу».

ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

Российская традиция не противопоставляет, а сопоставляет «народ» и «человека» как непересекающиеся параллельные в геометрии Евклида (более того, столь же параллельными измерениями оказываются гражданство и религиозность). Поскольку России чужд акцент на конкурентной индивидуализации, антропологический мотив человека не теснит этнографический мотив народа. Свойственный отечественной науке «этнический крен», неоднократно и не без скепсиса отмечавшийся зарубежными коллегами, имеет глубокие корни, обособляющие отечественное народоведение от европейской антропологии.

Со своей стороны, западная антропология не ищет общих корней с российским народоведением XVIII в., пусть даже его зачинателями были этнические немцы. По утвержденной схеме, антропология родилась во второй половине XIX в. в лоне европейского эволюционизма. Англоязычные учебники связывают начала антропологии и этнологии с выходом в свет «*Der Mensch in der Geschichte*» Адольфа Бастияна (1860), «*Primitive Culture*» Эдуарда Тайлора (1871), «*Ancient Society*» Льюиса Генри Моргана (1877). Немецкие учебники относят *Völkerkunde* и *Volkskunde* к до-науке, в остальном вторя английским аналогам:

«Институционализация антропологии на фоне естественных наук произошла в конце XIX и начале XX веков благодаря трудам ряда основоположников (Бастияна, Боаса, Риверса, Малиновского)» (Heidemann 2011: 16). И в русском учебнике раздел «Становление науки этнологии» открывается фразой: «Этнологическая наука сформировалась как самостоятельная отрасль знания в середине XIX в.» (Этнология 2006: 9).

Понятие «антропология» вошло в обиход задолго до XIX в.: в Германии (1501), Франции (1516) и Италии (1533) оно — вполне в духе эпохи Возрождения — несло в себе антитезу «теологии» и охватывало все знания о человеке. В 1790-е гг. стараниями Иоганна Блюменбаха обособилась физическая антропология с расоведением (некоторые полагают, что ее отсчет можно вести с трудов Линнея 1730-х гг.). Однако на статус действительной науки (социокультурная) антропология стала претендовать только с момента ее построения на эволюционизме во второй половине XIX в. (Vermeulen 2015: 2–5, 359–360).

Российская этнография и западная антропология расходятся не только по времени рождения, но и по мотивациям и практикам. Российское народоведение рождалось как эмпирико-практическое знание, заданное целями самопознания и самоорганизации империи: этнография по-русски — картина многонародности — создана исследователями-путешественниками XVIII в. под патронатом имперской власти. Европейская наука о человеке приобрела облик универсальной антропологии, в которой человечество выстроено в пирамиду эволюции, низшие ступени которой (дикость и варварство) отведены исследуемым, а высшая (цивилизация) — исследующим. Российское народоведение фокусировалось на отдельном народе и имперской галерее народов, тогда как западная антропология синтезировала общий ход эволюции человечества из фрагментов разных культур. Иначе говоря, главным героем российской этнографии выступал конкретный народ, западной антропологии — универсальный человек. Народы предстают в российской этнографии живыми современниками, в универсальной антропологии — реликтами первобытности. В трудах западных эволюционистов XIX в. фигурировали не народы (как у российских академиков XVIII в.), а стадии прогресса, для иллюстрации которых культуры народов мира служили базой данных.

В XIX в. российская этнография утратила былое лидерство и испытала мощное влияние европейской антропологии. Связано это, с одной стороны, со стабилизацией империи, когда актуальность практической этнографии сохранялась главным образом на пограничье. С другой стороны, бурный рост популярности европейского эволюционизма повлек за собой забвение прочих достижений. С середины XIX в. европейская наука стяжала право на истину, состоящую в единственно верной методологии эволюционизма. Как заметил С. М. Широкогоров, «в области этнографии этот метод одно время господствовал почти монопольно»

(Широкогоров 2002: 67). Впрочем, достижения классической российской этнографии XVIII в. все же сохранили практическое значение, что видно, например, в их использовании М. М. Сперанским при составлении Устава об управлении инородцев 1822 г.

Несмотря на повальное увлечение европейской антропологией, Россия упорно хранила (и продолжает хранить) название «этнография» и ее предпочтения. В этом видится почвенность народоведения, воспроизводящегося в России на собственных основаниях с переменной интенсивностью. Н. М. Надеждин, М. М. Ковалевский, Н. Н. Миклухо-Маклай, Н. Н. Харузин, В. В. Радлов, Д. Н. Анучин и другие отечественные этнографы XIX в. сочетали (иногда эклектично) живую этнографию с концептуальными схемами. Акцент на этнической и культурной самобытности свойствен теории Николая Данилевского о преобладании в общественных явлениях национального (этнического) содержания и устойчивой самобытности различных цивилизаций (культурно-исторических типов) (Данилевский 1991). Однако релятивизм Данилевского не устоял в то время под напором эволюционизма («Россия и Европа» вышла в свет в том же 1871 г., что и «Первобытная культура» Тайлора), и почитателей творчества Данилевского в России оказалось немного (в их числе, правда, были Федор Достоевский и Лев Толстой).

Очередной подъем этнографии в России связан с волной движения народников, чьи революционно-просветительские «хождения в народ» до мелочей напоминали полевую этнографическую работу. Правда, научный эффект дали не просветительские акции народовольцев, а их ссылка в отдаленные края Российской империи, где они устанавливали контакты с «простыми людьми». К тому же администрация нередко привлекала образованных ссыльных к исполнению работ вроде переписи и обследования коренных жителей, как это случилось со Штернбергом на Сахалине (Кап 2009: 45).

Среди ссыльных было немало «иноверцев» и «инородцев», что создавало атмосферу взаимного доверия и сближало их с сибирскими туземцами. Немец Дмитрий Клеменц основательно изучил жителей Алтая и Монголии, поляки Эдуард Пекарский, Вацлав Серошевский и Бронислав Пилсудский — народы Якутии и Сахалина. Выдающуюся роль в российской и советской этнографии сыграла знаменитая еврейская «этнотройка»: Лев Штернберг исследовал нивхов, Владимир Богораз — чукчей и коряков, Владимир Иохельсон — юкагиров. На их долю выпало поле поневолы — «экспедиции» в виде ссылки: в течение ряда лет они жили среди сибирских туземцев, стихийно вырабатывая приемы, которые позднее стали называться «стационарным методом» и «включенным наблюдением». Долгое поле дало им возможность вжиться в туземную культуру и овладеть местными языками, предвосхитив на пару десятилетий методику полевых работ Бронислава Малиновского.

Для этнотройки полевые исследования стали школой антропологии и этнографии, компенсировавшей дефицит университетского образования и ученых степеней. Этнография и антропология оставались для них важным делом до и после революции, особенно в связи с участием в Джесуповской экспедиции под началом Франца Боаса. Однако не в меньшей степени они посвящали себя общественной и революционной деятельности, в том числе еврейскому движению, в чем также ярко выразился феномен этничности.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ НАУКА

Революция 1917 г. дала мощный толчок развитию этнографии/-логии в России. Казалось бы, боровшимся за власть революционерам в первую очередь было биться на фронтах Гражданской войны, а не изучать народы. Между тем уже в апреле 1917 г., вскоре после Февральской революции, в Петербургской академии наук была создана Комиссия по изучению племенного состава населения России (КИПС) для составления этнографической карты России. Одним из первых декретов большевиков стала Декларация прав народов России от 2 (15) ноября 1917 г., провозгласившая: (1) равенство и суверенность народов России; (2) право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; (3) отмену всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; (4) свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Первую подпись под Декларацией поставил народный комиссар по делам национальностей Иосиф Джугашвили-Сталин (Декреты 1957: 41). Значимость этнического фактора в революции оттеняется тем, что именно наркомат по делам национальностей стал первым нововведением большевиков в структуре министерств (совнаркома) и именно нарком по делам национальностей вскоре стал лидером большевистской партии и архитектором СССР. По оценке Т. Мартина, Советский Союз был «империей утвердительного действия» в отношении этнических интересов населяющих его народов, особенно нацменьшинств. Р. Суни полагает, что СССР стал колыбелью наций, созданных или даже «сфабрикованных» большевистским правительством (Suny 1993; Martin 2001).

Как в XVIII в. Российская империя, так в XX в. советская власть устраивала подчиненное пространство с применением знаний о населяющих страну народах, и в очередной раз этнография стала инструментом политики. Поскольку одним из факторов революции было национальное движение «угнетенных инородцев» (евреев, грузин, латышей, поляков и др.) и новая правящая элита была этнически, а подчас и националистически, настроена, «национальный вопрос» в Советской России был

поднят на необычайную высоту. Первое десятилетие советской власти ознаменовалось бумом нацистроительства и народоведения.

Диапазон этнографических интересов в условиях революции и войны виден в организации Постоянной комиссии по изучению тропических стран (1918), Коллегии востоковедов при Азиатском музее (1921), Яфетического института (1921), Славянской комиссии (1922). В октябре 1917 г. по инициативе С. П. Покровского в Казани был открыт Северо-восточный археологический и этнографический институт (с Б. Ф. Адлером во главе этнографического отделения). В 1918 г. усилиями Л. Я. Штернберга и И. Д. Лукашевича в Петрограде был учрежден Географический институт, в составе которого впервые выделился антропогеографический (позднее этнографический) факультет; в 1920 г. на нем обучалось 284 студента — впечатляюще много в сравнении не только с синхронными советскими, но и с зарубежными университетами. В 1919 г. в Московском университете кафедра физической антропологии под началом Д. Н. Анучина обособилась от географического факультета, а в 1922 г. в составе факультета общественных наук образовалось этнолингвистическое отделение с кафедрой этнологии, возглавляемой профессором П. Н. Преображенским (Соловей 1998: 50; Кан 2009: 278, 282).

В октябре 1922 г. было создано Центральное этнографическое бюро при отделе нацменьшинств Наркомпроса, декларировавшее задачу «всестороннего изучения народов РСФСР». При активном участии В. Г. Богораза в июне 1924 г. при Президиуме ЦИК СССР был образован Комитет содействия народностям северных окраин (Комитет Севера) — одна из самых деятельных правительственных организаций этнографического профиля. МАЭ (Кунсткамера) оставался основным центром академической науки и продолжал издание фундаментального Сборника МАЭ. В 1923 г. начал издаваться популярный журнал «Краеведение», в 1925 г. — этнографически ориентированный журнал «Северная Азия», а при ЛГУ был организован туземный рабфак для подготовки научных кадров из числа народов Севера. В 1926 г. под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга вышел первый номер академического журнала «Этнография», ставшего центральным печатным органом этнографического сообщества Советской России. В середине 1920-х гг. развернулась беспрецедентная по размаху экспедиционная этнографическая работа во всех краях СССР. Публикации журнала «Этнография» в 1926–1930 гг. отразили размах работ по этнографии восточных славян (86), народов европейской части СССР (87), окраинных народов СССР (88), народов мира (89); фольклористике (90), религиозным верованиям (91), историографии (92), теории и методологии науки (93) (Соловей 1998: 41–46, 81).

Этноэпифора в раннем СССР довела до того, что исторический факультет МГУ был переименован в этнологический (1925–1931). По словам Штернберга, этнология стала «квинтэссенцией общественных



Рис. 3. Лев Штернберг, Франц Боас и Владимир Богораз на XXI Конгрессе американистов. Август 1924 г. Фотоотпечаток. МАЭ И 1371-4

наук», а «новообразовавшиеся автономные республики, под влиянием национального подъема, ревностно взялись за изучение родного языка и культуры» (Штернберг 1926: 42). В 1926 г. двое из этнотройки синхронно выехали на крупные международные форумы: Штернберг — на Тихоокеанский конгресс в Токио, Богораз — на Конгресс американистов в Рим; по этому поводу Богораз в одном из спичей заявил: «Мы, этнографы Союза ССР, охватили одним размахом весь круг земного шара» (Богораз 1927: 282). Никогда прежде в России не заходила речь о съезде этнографов и антропологов всей страны, и такой момент, наконец, настал. Для подготовки всесоюзного съезда и обсуждения перспектив науки о народах было решено провести предварительную конференцию с участием этнографов Ленинграда и Москвы.

НЕУДАЧНЫЙ РОМАН С МАРКСИЗМОМ

На конференции этнографов, состоявшейся в апреле 1929 г. в Ленинграде, доклады были распределены по темам: методы и теории, этнография и советское строительство, марксизм и этнология, этнографическое образование, этнография и музеи, публикационная деятельность, подготовка всесоюзного съезда этнографов. Трудности определения миссии и предмета этнографии/-логии в СССР виделись в ее привязке к естественным (через географию и физическую антропологию) или к

гуманитарным и социальным (через историю и социологию) наукам. Согласование осложнялось конкуренцией этнографических сообществ Ленинграда и Москвы, возглавлявшихся, соответственно, В. Г. Богоразом и П. Ф. Преображенским. Созданная Богоразом и Штернбергом школа базировалась в МАЭ и Географическом институте. Московский центр во главе с Преображенским располагался в МГУ. Полемика между Богоразом и Преображенским о методах этнографии и ее месте в системе наук обещала стать ключевой темой конференции.

Увлеченные профессиональными спорами, лидеры этнографов Ленинграда и Москвы недооценили третьей силы, проявившей себя за год до конференции в лице В. Б. Аптекаря, который в докладе «Марксизм и этнология» с трибуны Коммунистической академии обрушился на этнологию за то, что она строится на противоречивых понятиях «культура» и «этнос», при этом категория этнос/народность путается то с антропологической расой (вульгарный материализм), то с национальным духом (спиритуалистический идеализм). По логике Аптекаря выходило, что этнология несовместима с диалектическим материализмом и являет собой «буржуазный суррогат обществоведения», а марксистская социология перекрывает ее предметное поле, «уничтожая этнологию как особую науку» (От классиков к марксизму 2014: 250–252). В конце 1920-х гг., на пике популярности науки о народах, подобные высказывания звучали если не ересью, то недоразумением. Тревожило лишь то, что они исходили от ближайшего помощника академика Н. Я. Марра, главного организатора конференции.

Доклад Аптекаря под тем же названием и с теми же жесткими обвинениями (в недавнем прошлом Аптекарь служил политическим инспектором Реввоенсовета) не только прозвучал на конференции с заметным превышением регламента, но и стал главной темой дискуссии. Решительность, звучащая в тоне Аптекаря, выдавала в нем искусственного партийного полемиста, присвоившего себе право вершить суд именем марксизма. По его словам, доводы Преображенского «свидетельствует о том, что с марксизмом здесь весьма неблагоприятно», а выраженная в «Основах этногеографии» Богораза позиция «не может быть базовой для построения марксистской этнологии». В целом он диагностировал паралич науки о народах: «Марксистской этнологии мы построить не сможем по той простой причине, что мы не сможем взять “этнос” как одну из стадий, или ступеней, в диалектическом развитии производственного коллектива», а «с уничтожением понятия “этнос” ликвидируется самая наука этнология»; «все это приводит к заключению, что всякая попытка построить этнологию как марксистскую науку будет обречена на неудачу» (От классиков к марксизму 2014: 198–207).

В ответ Н. М. Маторин пустил в ход целую обойму фольклорных присказок для снятия напряжения от его выступления: «Аптекарь... “обещал большое кровопролитие, а чижика съел”»; «Вы ни словечка не

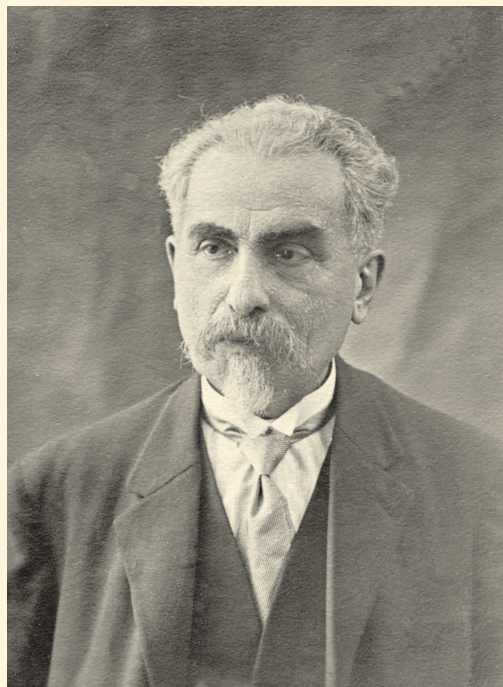


Рис. 4. Академик Николай Яковлевич Марр (1864–1934). Начало XX в. Негатив на стеклянном носителе. МАЭ И 1370-257

возражаете по конкретному вопросу, а, как говорят, лупите мимо Сидора в стенку». Выступления Аптекаря иногда вызывали смех, но чаще негодование: «тов. Аптекарь ведет в своих утверждениях к мракобесию, совершенно невозможному» (Маркелов); «одним из недоразумений можно считать и доклад тов. Аптекаря на нашей конференции» (Толстов); «второй год носит тов. Аптекарь имя антиэтнолога» (Ильин) (От классиков к марксизму 2014: 216–218, 225, 235).

Судя по хору протестующих возгласов, конференция пережила коллективную травму от атаки Аптекаря. Н. М. Никольский назвал его «диким человеком» и сравнил с плохим коновалом, который равнодушно сделал операцию и ушел. Богораз определил долгую дискуссию по докладу Аптекаря «нашим двухдневным коллективным сражением с “драконом”» и добавил: «После этих трехдневных споров мы, этнографы, все не можем решить, упразднили нас или нет, существуем мы или не существуем». Синдром заложников, охвативший все собрание, достиг своего апогея, когда на четвертый день заседаний *enfant terrible* («ужасное дитя», как называли Аптекаря) было избрано в президиум конференции (От классиков к марксизму 2014: 244, 254).

Сценарий, по которому Аптекарь выступил перед многочисленной аудиторией этнографов с открытой хулой их науки, может показаться

театром абсурда или образцом социального мазохизма, если не учитывать ряд теневых обстоятельств. Конференция проходила в Мраморном дворце, принадлежавшем в то время ГАИМК, во главе которой стоял Марр, автор яфетидологии — «нового учения о языке». О роли Марра назойливо напоминал Аптекарь, называя его «хозяином этого помещения», «председателем нашей конференции, председателем организационного бюро» (От классиков к марксизму 2014: 195, 206). При этом, собрав этнографов «в своем дворце», Марр в конференции не участвовал и даже не приветствовал ее, уступив слово своему ставленнику Аптекарю.

Трудно сказать, насколько собравшиеся осознавали себя заложниками Марра, вещающего голосом Аптекаря. Мотивы академика очевидны: созданная им яфетическая теория претендовала на роль общей для гуманитарных и общественных наук методологии, и для достижения этой цели надлежало столкнуть этнологию с пьедестала «квинтэссенции общественных наук», на который ее старательно возводил Штернберг. Марр видел в национальности «переходную ступень развития человечества», а не самобытную культуру, и отводил этничности (соответственно, этнографии) вторичную роль: «Собственно этнических культур по генезису не существует; в этом смысле нет племенных культур, отдельных по происхождению, а есть культура человечества определенных стадий развития» (Марр 1933: 236).

Едва ли искусная режиссура академика Марра, как и вдохновенная игра его ученика Аптекаря, могла сама по себе сломить волю целой конференции профессионалов. Советские этнографы, безуспешно пытавшиеся в течение нескольких дней составить хоть сколько-то приемлемую формулу альянса этнографии и марксизма, расписались в бессилии. Дискуссия показала, что там, где уместна этнография, нестати марксизм, и вместо альянса всюду получается мезальянс. Вскоре после конференции Богораз, неся бремя старшего по цеху, мобилизовал весь свой научный и литературный талант для сближения этнографии с марксизмом, написал большую статью в журнал «Этнография», но разочаровал себя и других — получилось худшее из его сочинений. Статья, полная скачков и повторов, явственно выражала неуверенность и неубедительность автора. Предложенные для «этнографического марксизма» описания религиозных верований ничуть не выиграли от того, что стали называться «надстройкой»; распределение фольклорных сюжетов по лестнице формаций живо напомнило лозунги; утверждение о том, что полевая работа без марксизма «полна разрывов и зияний», выглядело калькой прежних суждений автора о языке; витиеватый вывод о том, что «говорить об определенных общественных формациях на ранних стадиях жизни человечества мы можем только с большой условностью» (Богораз 1930: 9–10), был содержательно пуст. У читателя могло сложиться впечатление, что марксизм лишь портит этнографию (но в те годы подобные мысли следовало поскорее гнать прочь).

ПОГРОМ

После ленинградской конференции случился обвал народоведения в СССР: многое из того, что открывалось в 1920-е гг., в 1930-е было закрыто. В 1930 г. был ликвидирован этнологический факультет МГУ, в 1932 г. прекратило существование этнографическое отделение географического факультета ЛГУ. В 1930 г. место академического журнала «Этнография» заняла «Советская этнография», первый номер которой содержал статьи с откровенными заголовками: «Буржуазная финская этнография и политика финляндского фашизма», «Против национализма в чувашской этнографии». Отныне проявления этничности воспринимались на зловещем фоне национализма и фашизма. На XVII съезде ВКП(б) в 1934 г. Сталин заявил, что любой национализм, будь он великорусский или местный, есть отход от «ленинского интернационализма».

Этнографию загнали в тупик, и любые попытки ее оправдательной «марксизации» вызывали только раздражение. Ходили слухи, что Комакадемия замыслила травлю этнографии и причислила ее к стану контрреволюции. В 1932 г. вышел сборник статей под красноречивым названием «Этнография на службе классового врага», в предисловии к которому последователь Марра С. Н. Быковский писал:

Этнография играла роль информатора правящих классов относительно состояния «иностранцев», в интересах империалистической системы хозяйства <...> выявляя условия быта, степень материального благополучия, культурного развития каждой отдельной «иностранческой» группы и тем самым обеспечивая наибольший успех в порабощении и разорении каждой отдельной «изучаемой» нации (Этнография на службе 1932: 7).

Намеченный на 1932 г. съезд этнографов не состоялся; вместо него в январе 1932 г. прошло совещание Комакадемии и Общества историков-марксистов, на котором Н. М. Маторин в докладе «О задачах историков-марксистов на этнографическом фронте» объявил этнографию изжившей себя «в смысле особой науки». В мае 1932 г. он повторил вердикт на Всероссийском археолого-этнографическом совещании в докладе «Возможна ли марксистская этнография». Его поддержал С. П. Толстов: «Этнографии как отдельной дисциплины, как отдельной науки не должно быть и не может быть». «Этнографию похоронили», — резюмировал участвовавший в совещании мордовский этнограф М. Т. Маркелов (Алымов, Арзютов 2014: 70–73). На этот раз приговор своей науке оглашали сами этнографы — в популярном по тем временам жанре «чистосердечного признания».

Между тем академик Марр успешно сблизил «новое учение о языке» с марксизмом, установив классовую природу яфетической общности и надстроечную функцию языка. В 1930 г. он вступил в ряды ВКП(б) и выступил с речью на XVI съезде партии, причем вышел на трибуну сразу вслед за Сталиным. В том же году он стал директором Института по изучению народов СССР (ИПИН), созданного на базе КИПС. Одновременно, оставаясь председателем ГАИМК, Марр централизовал под своим началом лингвистику, добившись в 1931 г. объединения Яфетического института, Института востоковедения и Комиссии русского языка в Институт языка и мышления (Алпатов 1991; Соловей 1998). Трудно представить степень унификации, до которой академик Марр мог довести гуманитарные науки под сенью яфетидологии, если бы не его кончина в 1934 г.

Централизация науки удобна для управления и устрашения профессионального сообщества через его лидера. В этом смысле показательна судьба самого успешного этнографа тех лет — Н. М. Маторина, который в октябре 1930 г. был избран директором МАЭ, затем заместителем Марра в ИПИН, а в феврале 1933 г. — директором созданного на основе слияния МАЭ и ИПИН Института антропологии и этнографии. Он же стал редактором журнала «Советская этнография». Однако не прошло и года, как в декабре 1933 г. его сместили с поста директора (вместо него был назначен ученик Марра акад. И. И. Мещанинов), а затем исключили из партии, обвинив в причастности к контрреволюции (за работу в прошлом секретарем Г. Е. Зиновьева). 11 октября 1936 г. Маторин был расстрелян (Решетов 2003: 147–179).

Впрочем, жертвой лидера власть не удовлетворилась. В те годы этнографов, подобно кулакам, уничтожали «как класс»: по подсчетам А. М. Решетова (1994: 186), репрессировано было около полутысячи этнографов (к слову, сегодня их в России немногим больше). Среди жертв оказалось большинство делегатов роковой конференции 1929 г. в Мраморном дворце, в том числе антиэтнолог Аптекарь, казненный в 1937 г.

Этнография попала в опалу не только из-за слабости теории и происков яфетидолога Марра, но и ввиду угрозы, которую она несла режиму. К концу 1920-х гг. новая правящая элита укрепила свои позиции и не нуждалась более в расшатывающих устои национальных движениях. Этнические мотивы и силы, в альянсе с этнографией, представляли собой стихию, которую следовало унять. С объявлением войны национализму и попутной дискредитацией этнографии джинн, помогавший вершить революцию, был возвращен и запечатан в бутылку.

ЭПОХА ЭТНОГЕНЕЗА

За взлетом 1920-х и провалом 1930-х гг. советская этнография пережила этап «исправительных работ», когда ей пришлось изучать

первобытный коммунизм, бороться с религиями и содействовать скачку окраинных народов «из патриархальщины в социализм». Самые яркие российские теоретики этничности — Н. М. Могилянский и С. М. Широкогоров — эмигрировали. Казалось, разжалованная во вспомогательные исторические дисциплины этнография была обречена обслуживать марксистскую идеологию, откапывая в обычаях и обрядах пережитки матриархата и группового брака. Однако вскоре обнаружилось, что, даже отверженная, этнография все же пребывает у себя дома и способна произрастать даже в тени марксизма и марризма.

Н. М. Могилянский упоминал «этногенезис» еще в дискуссии 1916 г. В версии «этногония» это понятие использовал и Н. Я. Марр для построения всеобщей схемы происхождения и стадияльного развития языков; с его благословения археолого-этнографическое совещание 1932 г. определило «процесс этногенезиса и расселения этнических и национальных групп» одним из приоритетов исследований. Этнографы тут же воспользовались лазейкой, оставленной Марром, и с середины 1930-х гг. дружно принялись за этногенез. Этому сопутствовала идеологическая борьба с арийской, миграционистской и другими теориями, актуализировавшими древности (в 1936 г. по инициативе акад. Ю. В. Готье началось издание многотомной «Древней истории народов СССР»). Этногенез увлекал этнографов предметной близостью, «магией истоков» и эффектной междисциплинарностью на стыке с археологией, физической антропологией, лингвистикой. В 1938 г. на междисциплинарном совещании в ГАИМК была учреждена комиссия по проблемам этногенеза под председательством А. Д. Удальцова. В 1940-х гг. последовала серия публикаций по этногенезу за авторством Г. Н. Прокофьева (1940), В. Н. Чернецова (1941), С. А. Токарева (1941; 1949), А. Д. Удальцова (1943; 1944) и др. Тон в этногенетических исследованиях задавали советские археологи-автохтонисты, сражавшиеся с немцами-миграционистами (Г. Коссиной и его последователями) в споре за пространство прагерманских и праславянских племен Европы (Шнирельман 1993; Алымов, Арзютов 2014: 77–78; Алымов 2017: 72).

После удара по марризму, нанесенному в 1950 г. статьей Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», этногенез остался без руля и ветрил (кстати, сцена свержения кумира полна этничности: грузин Джугашвили пограл авторитет полугрузина Марра при помощи грузин Чарквиани и Чикобава). Пережив миг растерянности, этнографы обнаружили, что под вывеской марризма и марксизма они успешно развивали самостоятельное и перспективное междисциплинарное направление: С. П. Толстов являл собой образец синтеза этнографии и археологии, М. Г. Левин и Н. Н. Чебоксаров — этнографии и антропологии, Б. О. Долгих — этнографии и истории (этнической истории).

Этногенез был для советских этнографов своего рода творческим подпольем. Среди смиренных гуманитарных наук именно



Рис. 5. Сергей Павлович Толстов (1907–1976). Директор Института этнографии АН СССР (1942–1966). 1950 г. Негатив на стеклянном носителе. МАЭ И 1370-106

«вспомогательная» этнография позволяла себе роскошь гипотез и дискуссий. Прорвавшись в неопечатанную марксизмом область этногенеза, она кипела смелыми предположениями и рискованными толкованиями. Достаточно, для примера, вспомнить исследование происхождения селькупов Г. И. Пелих, в котором автор представляет этногенетическую панораму от Шумера до Берингоморья (Пелих 1972). Вольностью в эпоху советского интернационализма было и свойственное этнографам обостренное внимание к этничности.

Слегка окрепнув, этнография стала выбираться из подвала истории — «первобытнообщинной формации». Первые попытки привлечь этнографов к сюжетам современности в конце 1940-х гг. успехом не увенчались из-за опасений покидать убежище архаики и изменять обычаю «бесед со старушками». Сдвиг к современности Ю. Слезкин связывает с речью Сталина на приеме делегации правительства Финляндии в апреле 1948 г., когда вождь заговорил о равенстве народов и самобытности каждого из них; именно с этого момента «этнография смогла снова изучать этничность» (Slezkine 1994: 310). Впрочем, тема была не нова: и недавно, на этнографической конференции 1929 г., и давно, в академических экспедициях XVIII в., этничность занимала ключевую позицию в повестке народоведения. Со временем выстроилась классическая предметная триада советской этнографии: этногенез — этническая история — современные этнические процессы.

Из этногенеза выросла не только новая советская этнография, но и теория этноса, увенчанная яркой и яростной дискуссией 1970-х гг. с участием Ю. В. Бромлея и Л. Н. Гумилева. Поскольку оба пришли в этнографию из соседних областей балканистики (Бромлей) и востоковедения (Гумилев), ни тот ни другой не были скованы излишним пиететом к науке о народах, и каждый на свой лад решительно распорядился судьбой «этноса и этнографии». В настрое их теорий не последнюю роль сыграли проекции их исследовательских увлечений — кочевого напора Гумилева и оседлого уклада Бромлея.

Гумилев ворвался в остепенившуюся советскую этнографию 1970-х гг. подобно гунну, попирающему сложившиеся нормы и приличия. Традиционную этнографию он объявил исчерпавшей свои возможности и призвал развивать этнологию, цель которой состоит в изучении пассионарности народов. Обращаясь не только к формам, но и к эмоциям этничности, он использовал запрещенные в науке художественные приемы, посылающие сигнал не в мозг, а в сердце:

Этническое поле, т. е. феномен этноса как таковой, не сосредоточивается в телах ребенка и матери, а проявляется между ними. Ребенок, установивший связь с матерью первым криком и первым глотком молока, входит в ее этническое поле, которое потом лишь модифицируется вследствие общения с отцом, родными, другими детьми и всем народом (Гумилев 1990: 305).

Как истинный художник, Гумилев пренебрег формальностями в выборе главного героя. Им оказался не этнос, а пассионарий — человек этногенеза, создающий народ. От количества таких людей зависит уровень пассионарного напряжения этноса. Энергия эта подсознательна, поэтому «пассионарии не могут заставить себя рассчитать последствия своих поступков».

Особи, обладающие этим признаком, при благоприятных для себя условиях совершают (и не могут не совершать) поступки, которые, суммируясь, ломают инерцию традиции и иницируют новые этносы (Гумилев 1990: 260).

Эти метафоры и пассажи остались бы фигурами речи, если бы за ними не стояли реальные персонажи — этнические лидеры, миссия которых в советские времена старательно скрывалась научным коммунизмом. В этом плане Гумилев выступал не только идеологическим мятежником, но и почти конструктивистом, определяя решающую роль вождей в самоопределении народа. Для советских читателей «пассионарность» Гумилева по точности выражения не уступала зарубежным

аналогам — «харизме» М. Вебера, «порыву» А. Бергсона или «творческому меньшинству» А. Тойнби.

Правда, в конкретных исторических сюжетах пассионарность часто давала сбой: например, чиновники *гудухэу* в державе хунну безо всяких видимых причин скопом получили статус пассионариев (Гумилев 1993: 61, 196). Не менее уязвима наукообразная схема подъема, акматического состояния, надлома, инерции, обскурации этносов, общий жизненный цикл которых составляет около 1200 лет. И уж совсем за гранью науки оказалась версия космического происхождения пассионарной энергии, из-за которой генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский назвал Гумилева «сумасшедшим параноиком, обуреваемым навязчивой идеей доказать существование пассионарности», и посетовал на то, что в спорах с Гумилевым потратил «максимум своей пассионарности» (Беляков 2012: 456). Ныне эта часть теоретизирований Гумилева вызывает больше всего недоумений и разочарований (Bassin 2016), а также вопрос: обязательно ли принимать творчество исследователя целиком или позволительно выбрать те его доли, которые заслуживают профессионального внимания? Оставляя поклонникам эзотерики и гороскопов версию о внеземных радиационно-мутационных истоках пассионарности, остается сожалеть о том, что Гумилев искал их в макрокосме вселенной, а не в микрокосме человека, но при этом помнить, что годы на дворе были космические — 1960-е и 1970-е.

Зато часто звучащие в адрес Гумилева упреки в биологизаторстве не всегда справедливы: на самом деле его доводы были апологией человеческой этносферы на фоне всеобщей биосферы, агрессивной социосферы и мертвящей техносферы. Какой бы критике ни подвергались суждения Гумилева, ему принадлежит заслуга популяризации темы этноса и этногенеза. В его риторике впервые с 1920-х гг. громко зазвучало слово «этнология», причем с почти забытой претензией на роль «царицы наук».

В сравнении с пассионарным этногенезом Гумилева уравновешенный «этнос» Ю. В. Бромлей смотрелся научно, но статично. Его аналитические раскладки «в широком смысле» на этносоциальный организм (ЭСО) и «в узком смысле» на этникос вносили некоторую ясность, но не живость. Впрочем, в ту пору научность прочно ассоциировалась с тяжестью языка и распевными терминологическими штудиями: ученые были искренне увлечены обсуждением научных категорий, терминотворчеством; на конференциях призывали друг друга «прежде всего договориться о терминах» и самозабвенно без конца договаривались. Как истинный систематик, Бромлей твердо определил объект этнографии — народ (этнос), точнее «все когда-либо существовавшие этносы» (Бромлей 1973: 205). Это тривиальное, на первый взгляд, суждение не заслуживало бы внимания, не случись совсем недавно, в дискуссиях 1920–1930-х гг., «исчезновения» этноса, а следом и этнографии. Наконец, в

1983 г., Бромлей осуществил то, чего не допускали Марр и Аптекарь, — распределил типы этносов по марксистским формациям (Бромлей 1983). Советским этнографам в те годы казалось, что этнос и этнография обрели наконец мир и покой. Однако теория этногенеза себя уже исчерпала и выглядела устало, что заметно по книге В. П. Алексеева с программным названием «Этногенез», содержащей схематичные понятия: этногенетические деревья, этногенетические ветви, этногенетические кусты, этногенетические пучки (Алексеев 1986: 70–72).

Усталость от этногенеза совпала с «окончательным решением национального вопроса в СССР»: брежневская конституция 1977 г. провозгласила новую историческую общность «советский народ», вобравшую в себя социалистические нации и народности. Однако этническое умиротворение оказалось лишь затишьем перед бурей 1990-х гг., когда «советский народ» вдруг взорвался сотней больших и малых национализмов. Вновь, как в годы революции, по слабеющей империи пронесся смерч «национального вопроса» — джинн этничности, полвека просидевший в запечатанной бутылке, вырвался на свободу, и никто не мог ни предсказать, ни объяснить его поведения. «Этносы» вели себя совершенно не так, как им предписывала конституция, — скорее, по сценарию пассионарного этногенеза Гумилева, чем по статичной схеме Бромлея.

В те же годы в мировой науке обозначился тренд дэтнизации антропологической повестки: после выхода в свет книги Б. Андерсона (Anderson 1983) народы под пером конструктивистов все чаще объявлялись «воображаемыми сообществами». Близился контрапункт, когда постсоветская этнография оказалась в разладе между реальным накалом этничности и концептуальным «низвержением этноса». Это состояние выразилось, например, в диалоге между С. А. Арутюновым с его «развитием» народов и культур (1989) и В. А. Тишковым с его «реквиемом по этносу» (2003). Впрочем, это — сюжет отдельного очерка.

Иногда экскурс к первичным смыслам полезен, как уборка на письменном столе, для избавления от рассеивающих внимание наслоений. Краткий монтаж фактов из истории отечественной этнографии показывает, что в России наука о народах была «почвенной» — выросшей из реальных обстоятельств и нужд. Наука по определению всечеловечна и глобальна, но есть места и ситуации, в которых та или иная отрасль знаний растет от корней обыденности и отвечает на жизненные вызовы. В полиэтничной Российской империи XVIII в. так случилось с народоведением, от которого берет начало традиция особого, подчас гипертрофированного, внимания к этничности в советской и российской этнографии/-логии. Раннему народоведению свойственно: (1) выдвижение на первый план

народа как главного фигуранта повествования; (2) значимость художественного образа (рисунка костюма) в описании народа; (3) рождение народоописания не в кабинетах, а в путешествиях. Позднее, когда идеология принуждала этнографию отречься от этничности, та уходила в «подполье» (например, этногенез), но затем непременно возвращалась к прежним приоритетам. Даже «критика этноса» исходила из той же этничности, пусть и с обратным знаком. Эта особенность российской науки о народах до сих пор заметно отличает ее от зарубежной антропологии.

Искания и достижения российской этнографии на поприще этничности следует считать не «тупиковой ветвью», а конкурентным преимуществом отечественной науки. Народоведение — национальное достояние России. Возможно, этнография — самая российская из наук (по рождению и устойчивой мотивации), и драматургия ее истории адекватна «национальному характеру».

В XX в. «национальный вопрос» сыграл ключевую роль в революции и строительстве СССР, который был сконституирован как союз народов, а его Верховный Совет составлен из двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей. Как Запад опирается на многопартийность, так Россия/СССР — на многонародность. Российское народовластие этнично: именно голоса и интересы народов образуют многонациональное общество и служат главным противовесом политическому централизму.

Российская этнография не одинока в своей склонности к этничности. Среди близких ей методологий можно назвать постмодернизм с его неожиданным для западной антропологии культом этнографии как науки плотных текстов и их этнически адекватных интерпретаций. Многие из подходов и находок релятивизма родственно отечественной науке о народах с ее неизменным вниманием к «этнической специфике». Даже конструктивизм, ставящий под сомнение «объективность объекта» этнографии — народа, в действительности оказывается методом субъективной этнографии, открывающим доступ к изучению действующих лиц и сценариев народостроительства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991.
- Альмов С. С. Украинские корни теории этноса // Этнографическое обозрение. 2017. № 5. С. 67–84.
- Альмов С. С., Арзютов Д. В. Марксистская этнография за семь дней: совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920–1930-е годы // От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). СПб., 2014. С. 21–90.
- Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989.
- Беляков С. С. Гумилев сын Гумилева. М., 2012.

Богораз В. Г. К вопросу о применении марксистского метода к изучению этнографических явлений // *Этнография*. 1930. № 1–2. С. 3–56.

Витсен Н. Северная и восточная Тартария. Амстердам, 2010. Т. 1–3.

Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011.

Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. СПб., 1776. Ч. 1–3; 1799. Ч. 1–4.

Головнёв А. В. Феномен колонизации. Екатеринбург, 2015.

Головнёв А. В., Киссер Т. С. Этнопортрет империи в трудах П. С. Палласа и И. Г. Георги // *Уральский исторический вестник*. 2015. № 3 (48). С. 59–69.

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1.

Жабрева А. Э. Изображения костюмов народов России в трудах ученых Петербургской Академии наук XVIII в. // *Справочно-библиографическое обслуживание: традиции и новации*. СПб., 2007. С. 201–214.

Золотарев А. М. Этнография в Москве // *Советская этнография*. 1934. № 4. С. 118–119.

Копанева Н. П. Научное путешествие Д. Г. Мессершмидта как часть проектов Петра I по описанию Российского государства // *Уральский исторический вестник*. 2016. № 2 (51). С. 44–52.

Маништейн Х. Г. Записки о России // *Перевороты и войны*. М., 1997.

Март Н. Я. Избранные работы. М.; Л., 1933. Т. 1.

Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб., 1886–1887. Т. 4.

Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов. М., 2009.

Нащокин В. А. Записки // *Империя после Петра (1725–1765)*. М., 1998. С. 325–384.

От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). СПб., 2014.

Открываемая Россия, или Собрание одежд всех народов в Российской империи обретающихся. СПб., 1774–1776. № 1–13.

Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1773. Ч. 1–2, кн. 1.

Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск, 1972.

Прокофьев Г. Н. Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна // *Советская этнография*. 1940. № 3. С. 67–76.

Решетов А. М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // *Кунсткамера. Этнографические тетради*. СПб., 1994. Вып. 4. С. 185–221.

Соловей Т. Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX в. М., 1998.

СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 35. Д. 36.

Суни Р. Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // *Национализм в мировой истории*. М., 2007.

Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003.

Токарев С. А. К постановке проблем этногенеза // Советская этнография. 1949. № 3. С. 12–36.

Токарев С. А. Первая сводная этнографическая работа о народах России: Из истории русской этнографии XVIII в. // Вестник Московского университета. Историко-филологическая серия. 1958. № 4. С. 113–127.

Токарев С. А. Происхождение якутской народности // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.; Л., 1941. Т. 9. С. 58–62.

Токарев С. А. История русской этнографии. Дооктябрьский период. М., 2012.

Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт: У истоков сибирской археологии. СПб., 2017.

Удальцов А. Д. Начальный период восточнославянского этногенеза // Исторический журнал. 1943. № 11–12. С. 67–72.

Удальцов А. Д. Теоретические основы этногенетических исследований // Известия АН СССР. Сер.: История и философия. 1944. Вып. 1. № 6. С. 252–265.

Чернецов В. Н. Очерк этногенеза обских угров // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М.; Л., 1941. Т. 9. С. 18–28.

Чистов Ю. К. Этнографические коллекции Кунсткамеры (1714–1836). К вопросу об институционализации этнографии как научной дисциплины в России // Уральский исторический вестник. 2017. № 4 (57). С. 136–143.

Широкогоров С. М. Этнографические исследования. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Владивосток, 2002. Кн. 2.

Шнирельман В. А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этнографическое обозрение. 1993. № 3. С. 52–68.

Элерт А. Х. Народы Сибири в трудах Г. Ф. Миллера. Новосибирск, 1999.

Этнология: учебное пособие. М., 2006.

Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London; New York, 1983.

Asad T. Afterword: From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony // Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge. Madison, 1991. P. 314–324.

Bassin M. The Gumilev Mystique: Biopolitics, Eurasianism, and the Construction of Community in Modern Russia. New York, 2016.

Galtung J. Scientific Colonialism: The Lessons of Project Camelot // Transition. 1967. № 5–6 (30). P. 10–15.

Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen Merckwürdigkeiten. St. Petersburg, 1776–1780. Bd. 1–4.

Georgi J. G. Bemerkungen einer Reise im Rußischen Reich 1772–1774. St. Petersburg, 1775. Bd. 1–2.

Gough K. Anthropology: Child of Imperialism // Monthly Review. 1968. Vol. 19, № 11. P. 12–27.

Harley J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore, 2001.

- Heidemann F. Ethnologie. Eine Einführung. Göttingen, 2011.
- Kan S. Lev Sternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Lincoln; London, 2009.
- Köhler M. Russische Ethnographie und imperial Politik im 18. Jahrhundert. Göttingen, 2012.
- Martin T. An Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. New York, 2001.
- Müller G. F. Nachrichtenüber Völker Sibiriens (1736–1742). Hamburg, 2003.
- Müller G. F. Ethnographische Schriften II. Halle, 2018.
- Pels P. What Has Anthropology Learned from the Anthropology of Colonialism? // Social Anthropology. 2008. Vol. 16 (3). P. 280–299.
- Slezkine Yu. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. New York, 1994.
- Stagl J. A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800. New York, 1995.
- Suny R. G. The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993.
- Vermeulen H. F. Before Boas: the Genesis of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment. Lincoln; London, 2015.

ETHNOGRAPHY IN THE RUSSIAN ACADEMIC TRADITION

ABSTRACT. The author of the first major comprehensive ethnographic survey is Johann Gottlieb Georgi, who published *A Description of All the Nationalities That Inhabit the Russian State* in 1776–1780. Early ethnographic papers are characterized by: (1) putting a focus on a people, or indeed all peoples, so that they become central in the narrative. Georgi made an ‘ethnic portrait of the Empire’, thus creating an image of the multiethnic Russia; (2) the significance of imagery (drawing of a costume) for the description of a people; (3) the ethnography was born in expedition, and not in office. In the 20th century national movements, together with ethnographic knowledge, played a pivotal role in the Revolution and the emergence of the USSR as a union of peoples; the first decade of the Soviet regime was marked with the nation-building and ethnic studies. In early 1930s, when the ruling elite became firmly established and no longer needed national movements and serious ethnic studies, ethnography fell out of political favour and became a secondary historical discipline. During repressions Soviet ethnographers were deeply engrossed in the subject of ethnogenesis, which gave rise to the theory of ethnos, crowned with the discussion of the 1970s with Julian Bromley and Lev Gumilev as the main opponents. In Russia, ethnography has always been based on real circumstance and need.

KEY WORDS: ethnography, anthropology, ethnos, Russia, Empire, Soviet making of the nation, ethnogenesis, history of science

Andrei V. GOLOVNEV — Member of the RAS, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (the Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences (Russia, Saint Petersburg)
E-mail: Andrei_golovnev@bk.ru

REFERENCES

- Alpatov V. M. *Istoriya odnogo mifa: Marr i marrizm* [The Story of One Myth: Marr and Marrism]. Moscow: Nauka Publ., 1991, 240 p. (in Russ.).
- Alymov S. S. [Ukrainian Roots of the Theory of Ethnos]. *Etnograficheskoe obozrenie* [Ethnographic Review], 2017, no. 5, pp. 67–84. (in Russ.).
- Alymov S. S., Arzyutov D. V. [Marxist Ethnography in Seven Days: Meeting of Ethnographers from Moscow and Leningrad and Discussions in the Soviet Social Sciences in the 1920s–1930s]. *Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada (5–11 aprelya 1929 g.)* [From Classics to Marxism: the Meeting of Ethnographers from Moscow and Leningrad (5–11 April 1929)]. St. Petersburg: Museum of Anthropology and Ethnography of the RAS Publ., 2014, pp. 21–90. (in Russ.).
- Anderson B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London; New York: Verso, 1983, 240 p. (in English).
- Arutyunov S. A. *Narody i kultury: razvitie i vzaimodeystvie* [Peoples and Cultures: Development and Interaction]. Moscow: Nauka Publ., 1989, 247 p. (in Russ.).
- Asad T. Afterword: From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony. *Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge*. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1991, pp. 314–324. (in English).
- Bassin M. The Gumilev Mystique: Biopolitics, Eurasianism, and the Construction of Community in Modern Russia. New York: Cornell Univ. Press, 2016. 400 p. (in English).
- Belyakov S. S. *Gumilev syn Gumileva* [Gumilyov's Son Gumilev]. Moscow: “Astrel” Publ., 2012, 797 p. (in Russ.).
- Bogoraz V. G. [On the Application of the Marxist Method to the Study of Ethnographic Phenomena]. *Etnografiya* [Ethnography], 1930, no. 1–2, pp. 3–56. (in Russ.).
- Chernetsov V. N. [Essay on the Ethnogenesis of the Ob Ugrians]. *Kratkie soobshcheniya Instituta istorii materialnoy kultury* [Brief Reports of the Institute of the History of Material Culture], 1941, vol. 9, pp. 18–28. (in Russ.).
- Chistov Yu. K. [Ethnographical collections of Kunstkamera (1714–1836). A Question of the Institutionalization of Ethnography as a Scientific Discipline in Russia]. *Ural'skij istoriceski vestnik* [Ural Historical Journal], 2017, no. 4 (57), pp. 136–143. (in Russ.).
- Elert A. Ch. *Narody Sibiri v trudakh G. F. Millera*. [The Peoples of Siberia in the Works of G. F. Müller]. Novosibirsk: Instit. of Archaeology and Ethnography, Siberian branch of the RAS Publ., 1999, 240 p. (in Russ.).
- Etnologiya. Uchebnoe posobie* [Ethnology. Teaching Aid]. Moscow: Akademicheskii proekt, Alma Mater Publ., 2006, 640 p. (in Russ.).
- Galtung J. Scientific Colonialism: The Lessons of Project Camelot. *Transition*, 1967, no. 5–6 (30), pp. 10–15. (in English).
- Golovnev A. V., Kisser T. S. [Empire Ethnoportrait in P. S. Pallas and I. G. Georgi's Works]. *Ural'skij istoriceski vestnik* [Ural Historical Journal], 2015, no. 3 (48), pp. 59–69. (in Russ.).
- Golovnev A. V. *Fenomen kolonizatsii* [Phenomenon of Colonization], Ekaterinburg: Ural branch of the RAS Publ., 2015. 592 p. (in Russ.).

Gough K. Anthropology: Child of Imperialism. *Monthly Review*, 1968, vol. 19, no. 11, pp. 12–27. (in English).

Harley J. B. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 2001, 334 p. (in English).

Heidemann F. *Ethnologie. Eine Einführung* [Ethnology. An Introduction]. Göttingen: Vandehoek und Ruprecht Publ., 2011, 285 s. (in German).

Kan S. Lev Sternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Lincoln; London: Univ. of Nebraska Press, 2009, 551 p. (in English).

Köhler M. *Russische Ethnographie und imperial Politik im 18. Jahrhundert* [Russian Ethnography and Imperial Politics in the 18th Century]. Göttingen: V&R unipress, 2012, 299 s. (in German).

Kopaneva N. P. [D. G. Messerschmidt's Research Journey as Part of Peter I Description of the Russian State Projects]. *Ural'skij istoriceski vestnik* [Ural Historical Journal], 2016, no. 2 (51), pp. 44–52. (in Russ.).

Manshteysh Kh. G. [Memoirs about Russia]. *Perevoroty i voyny* [Revolutions and Wars]. Moscow: Fond Sergeya Dubrova Publ., 1997, 576 p. (in Russ.).

Marr N. Ya. *Izbrannyye raboty* [Selected Works]. Moscow; Leningrad: AN SSSR, 1933, vol. 1, 437 p. (in Russ.).

Martin T. An Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. New York: Cornell Univ. Press, 2001, 496 p. (in English).

Nashchokin V. A. [Memoirs]. *Imperiya posle Petra (1725–1765)* [The Empire after Peter (1725–1765)]. Moscow: Fond Sergeya Dubrova Publ., 1998, pp. 325–384. (in Russ.).

Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie etnografov Moskvy i Leningrada (5–11 aprel'ya 1929 g.) [From Classics to Marxism: the Meeting of Ethnographers from Moscow and Leningrad (5–11 April 1929)]. St. Petersburg: Museum of Anthropology and Ethnography of the RAS Publ., 2014, 511 p. (in Russ.).

Pelikh G. I. *Proiskhozhdenie selkupov* [Origin of Selkups]. Tomsk: Tomsk State Univ., 1972, 424 p. (in Russ.).

Pels P. What Has Anthropology Learned from the Anthropology of Colonialism? *Social Anthropology*, 2008, vol. 16 (3), pp. 280–299. (in English).

Prokofev G. N. [Ethnicity of the Peoples of the Ob-Yenisei Basin]. *Sovetskaya etnografiya* [Soviet ethnography], 1940, no. 3, pp. 67–76. (in Russ.).

Reshetov A. M. [Repressed Ethnography: People and Fates]. *Kunstkamera. Etnograficheskie tetradi* [Kunstkamera. Ethnographic notebooks], 1994, iss. 4, pp. 185–221. (in Russ.).

Shirokogoroff S. M. *Etnograficheskie issledovaniya: Etnos. Issledovanie osnovnykh print-sipov izmeneniya etnicheskikh i etnograficheskikh yavleniy* [Ethnographic Research: Ethnos. Study of the Basic Principles of Changing Ethnic and Ethnographic Phenomena]. Vladivostok: Far Eastern Univ. Publ., 2002, book 2, 148 p. (in Russ.).

Shnirelman V. A. [A Poor Fate of the Discipline: Ethnogenetic Studies and Stalin's Ethnic Policy]. *Etnograficheskoe obozrenie* [Ethnographic Review], 1993, no. 3, pp. 52–68. (in Russ.).

Slezkine Yu. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. New York: Cornell Univ. Press, 1994, 456 p. (in English).

Solovey T. D. *Ot «burzhuaiznyy» etnologii k «sovetskoy» etnografii. Istoriya otechestvennoy etnologii pervoy treti XX v.* [From “Bourgeois” Ethnology to “Soviet” Ethnography. The History

of Domestic Ethnology of the First Third of the 20th Century]. Moscow: Instit. of Ethnology and Anthropology of the RAS Publ., 1998, 298 p. (in Russ.).

Stagl J. A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800. New York: Harwood Academic Publ., 1995, 344 p. (in English).

Suny R. G. [The Empire as it is: the Imperial Period in the History of Russia, the “National” Identity and the Theory of the Empire]. *Natsionalizm v mirovoy istorii* [Nationalism in World History]. Moscow: Nauka Publ., 2007, pp. 36–81. (in Russ.).

Suny R. G. The Revenge of the Past. Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford: Stanford Univ. Press 1993, 224 p. (in English).

Tishkov V. A. *Rekviem po etnosu. Issledovaniya po sotsialno-kulturnoy antropologii* [Requiem for the Ethnos: Studies on Social-Cultural Anthropology]. Moscow: Nauka Publ., 2003, 544 p. (in Russ.).

Tokarev S. A. [The First Composite Ethnographic Work on the Peoples of Russia: From the History of Russian Ethnography of the 18th Century]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Istoriko-filologicheskaya seriya* [Bulletin of Moscow University. Historical and Philological Series], 1958, no. 4, pp. 113–127. (in Russ.).

Tokarev S. A. [The Origin of the Yakut People]. *Kratkie soobshcheniya Instituta istorii materialnoy kultury* [Brief Reports of the Institute of the History of Material Culture], 1941, vol. 9, pp. 58–62. (in Russ.).

Tokarev S. A. [To the Formulation of Problems of Ethnogenesis]. *Sovetskaya etnografiya* [Soviet ethnography], 1949, no. 3, pp. 12–36. (in Russ.).

Tokarev S. A. *Istoriya russkoy etnografii (Dooktyabr'skiy period)* [History of Russian Ethnography (Before the October Revolution)] Moscow: Librokom Publ., 2012, 456 p. (in Russ.).

Tunkina I. V., Savinov D. G. *Daniel Gotlib Messerschmidt: U istokov sibirskoy arkheologii* [Daniel Gottlieb Messerschmidt: At the Origins of Siberian Archaeology]. St. Petersburg: OOO “ElekSis” Publ., 2017, 168 p. (in Russ.).

Udaltsov A. D. [The Initial Period of East Slavic Ethnogenesis]. *Istoricheskiy zhurnal* [Historical Journal], 1943, no. 11–12, pp. 67–72. (in Russ.).

Udaltsov A. D. [Theoretical Bases of Ethnogenetic Research]. *Izvestiya AN SSSR. Ser.: Istorii i filosofii* [Proceedings of the AN SSSR. Ser.: History and Philosophy], 1944, iss. 1, no. 6, pp. 252–265. (in Russ.).

Vermeulen H. F. Before Boas: the Genesis of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment. Lincoln; London: Univ. of Nebraska Press, 2015, 720 p. (in English).

Vishlenkova Ye. A. *Vizualnoe narodovedenie imperii, ili Uvidet russkogo dano ne kazhdomu* [Visual Ethnology of the Russian Empire or “Not Everyone is Able to See the Russian”]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2011, 384 p. (in Russ.).

Zhabreva A. E. [Images of the Costumes of the Peoples of Russia in the Works of Scientists of the Petersburg Academy of Sciences of the 18th Century]. *Spravochno-bibliograficheskoe obsluzhivanie: traditsii i novatsii* [Reference-Bibliographic Service: Traditions and Innovations] St. Petersburg: Library of the RAS Publ., 2007, pp. 201–214. (in Russ.).

Zolotarev A. M. [Ethnography in Moscow]. *Sovetskaya etnografiya* [Soviet Ethnography], 1934, no. 4, pp. 118–119. (in Russ.).